



ГАМБИТ.
ВЯЗЕМСКИЕ

СЕСИЛИЯ СУАРЕЗ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Сесилия Суарез

Гамбит. Вяземские

<https://litres.ru/74080004>

SelfPub; 2026

Аннотация

Я — разменная монета в войне мафиозных кланов. Меня отправили в Петербург — подальше от дома, под защиту клана Вяземских. Я должна была стать невидимкой. Тихой студенткой, о которой никто не спросит. Но наследник самого жестокого клана северо-запада, клана Вяземских, решил, что я принадлежу ему.

Он холоден. Он жесток. Он заставляет меня подчиняться — и я не могу сопротивляться. Потому что его власть абсолютна. Потому что его прикосновения обжигают даже сквозь лёд. Я боюсь его. Я ненавижу его. И я хочу его так, что перестаю узнавать саму себя.

В этом городе, где небо давит свинцом, а вода пахнет металлом, мы играем в опасную игру. И никто еще не знает, что пешка, которую двинули на край доски, станет лучшей защитой для короля.

В книге:

- одержимость
- властный герой
- от ненависти до любви
- очень откровенно

- герой-мафиози, хрупкая героиня в его власти.

Содержание

Глава 1. Краснодар	5
Глава 2. Город свинца и воды	22
Глава 3. Знакомство с ледяным принцем	36
Глава 4. Командный тон	47
Глава 5. Клубный дурман	54
Глава 6. Спасительная ярость	63
Глава 7. Смена караула	75
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Сесилия Суарез

Гамбит. Вяземские

Глава 1. Краснодар

Гамбит – это термин в шахматах, когда одна из сторон добровольно жертвует пешку ради получения преимущества

Катя

Зеленые с сизым налетом виноградники уходили к горизонту ровными рядами, и на склоне дня, когда солнце уже не палило, а лишь золотило пыль над тропинкой, воздух становился густым и сладким, как сироп. Я шла босиком, сандалии держа в руке, чувствуя подошвами теплую шершавую землю. Рядом шагал Роман.

Он был выше меня почти на голову, коренастый, с широкими плечами и тяжелыми руками, которые, казалось, могли гнуть арматуру. Южная кровь дала ему смуглую кожу и крупные черты лица: широкий нос, полные губы, темные брови вразлет — и ту особую чуть ленивую грацию, которая бывает у сильных мужчин, привыкших к физической работе. Он не был изящным. Он был мощным и горячим, как кубанский полдень. Сын одного из отцовских бригадиров, он с детства крутился в усадьбе: помогал на винодельне, гонял с

Гришей на мотоциклах, таскал ящики с персиками, и я знала его столько, сколько себя помнила. Но по-настоящему заметила только этой весной, когда ему исполнилось двадцать два, и он вдруг начал смотреть на меня не как на барскую дочку, а как на женщину.

— «Красноstop» в этом году будет хорош, — сказал он, трогая гроздь, свисавшую с лозы. Пальцы у него были грубые. — Сладкий, как мед. Если дожди не зарядят.

— Разве ты по ягодам определяешь? — я улыбнулась, стараясь, чтобы голос звучал легко. С ним мне почти удавалось забыть, кто я.

— По ягодам, по листу, по тому, как осы кружат, — он обернулся, и его темные глаза блеснули. — Меня дед учил. Он еще до революции тут виноград растил.

Я хотела ответить, но в этот момент споткнулась о камень, скрытый в траве, и, охнув, полетела вперед. Роман поймал меня мгновенно одной рукой за талию, другой за плечо, и дернул к себе с той животной быстротой, которая не оставляла времени на страх. Я врезалась в его грудь, почувствовала, как мягкая ткань рубашки прикасается к щеке, и на секунду замерла, оглушенная его близостью.

Он прижимал меня так, будто я была чем-то ценным. Не багажом. Не активом. Не тенью покойной матери. А Катей. Живой и теплой, с бьющимся где-то в горле сердцем. Его ладонь на моей талии была огромной и горячеей, пальцы чуть сжались, прежде чем он ослабил хватку, но не отпустил. От

него пахло потом, солнцем и чуть-чуть виноградным соком, и этот запах вдруг показался мне самым приятным на свете.

— Осторожнее, Екатерина Сергеевна, — проговорил он низко, и в его голосе я услышала усмешку.

Я не отшатнулась. Я стояла в его руках, чувствуя, как внутри что-то раскачивается — запретное, опасное, то, чему меня учили не давать ходу.

Мне восемнадцать. Через месяц — девятнадцать. Все мои ровесницы из благородных кланов уже были сосватаны, многие — замужем, некоторые — с детьми. Их жизни были расписаны от первой менструации до последнего вздоха. Меня ждало то же самое: однажды отец вызовет меня в кабинет, и там будет сидеть чужой мужчина — старый или молодой, жестокий или равнодушный, и отец скажет: «Это твой будущий муж. Свадьба через месяц. Ты принесешь нам союз». И всё. Моя жизнь кончится, так и не начавшись. Я стану женой, потом матерью, потом — если повезет — бабкой, которая греет кости на солнце и смотрит, как играют внуки. Но мои губы никогда не узнают, что такое поцелуй по любви.

И это жгло. Жгло так, что я не спала ночами, слушая, как стрекочут цикады, и представляя себе лица незнакомых мужчин, которые будут иметь на меня все права. Жгло так, что, когда Роман смотрел на меня, я позволяла себе воображать невозможное: что я — не дочь дона, а просто девушка, которая может влюбиться, как влюбляются обычные люди.

Я подняла лицо. Он был так близко, что я видела крошеч-

ный шрам над его левой бровью, оставшийся с детской драки, и бисеринки пота на висках, и то, как темнеют его глаза, когда зрачки расширяются, съедая радужку.

— Ром, — выдохнула я, и собственный голос показался мне чужим, низким и хриплым. — Поцелуй меня.

Он моргнул. На его губах медленно расцвела улыбка. Широкая, открытая, с той самой южной бесшабашностью, которую я так любила в нем. Он не спросил, уверена ли я. Он видел ответ в моих глазах.

— Долго же ты думала, — шепнул он и наклонился.

Его поцелуй был нежным. Я ожидала напора, грубости — я слышала, как девушки на кухне хихикали о том, что «Ромка — тот еще ходок», и представляла, что он будет кусаться и тискать, как в кино. Но он коснулся моих губ так, словно я была сделана из тонкого стекла: мягко, испытующе, давая мне время привыкнуть. Его губы были сухими и горячими, чуть шершавыми от ветра, и сначала я просто замерла, пытаюсь прочувствовать это новое, пугающее ощущение. Чужие губы на моих. Чужое дыхание, пахнущее апельсиновой жвачкой, которую он жевал полчаса назад. Чужой язык, который скользнул по моей нижней губе — вопросительно, игриво.

Я приоткрыла рот, и мир сузился до этой точки соприкосновения. Его язык проник внутрь медленно, но уверенно, и я едва не задохнулась от странного, мучительного удовольствия. Так вот как это бывает. Мне казалось, что я падаю,

хотя я стояла на твердой земле, прижатая к нему. Его рука на моей талии сжалась крепче, другая скользнула вверх по спине, к лопаткам, и я почувствовала приятные поглаживания через тонкую ткань футболки.

Я пыталась отвечать, но у меня не было ни опыта, ни понимания, что делать с этим скользящим, ищущим движением. Он вел, а я подчинялась, и это подчинение было сладким, как первый глоток ледяного лимонада в жару. Я думала: его язык уже был во многих ртах. Скольких девушек он так целовал? Дочерей виноделов, продавщиц с рынка, туристов, приезжающих в станицу? Он был красив и знал это; от него исходила та самоуверенность опытного любовника, которая не оставляла сомнений: я не первая и не последняя. Эта мысль кольнула чем-то противным, но тут же потонула в новой волне ощущений, потому что он чуть повернул голову, углубил поцелуй, и у меня подогнулись колени.

Он почувствовал и придержал меня, на секунду оторвавшись. Я открыла глаза и увидела его лицо так близко, что могла пересчитать ресницы.

— Ты вкусная, — сказал он тихо, с улыбкой, и в этой улыбке было всё: и лесть, и обещание, и что-то темное, охотничье. — Как яблоко.

Я не знала, что ответить, и просто уткнулась лицом в его плечо, пытаясь отдышаться. Он рассмеялся низко, раскати-сто и погладил меня по голове, как гладят котенка. Мне было стыдно и хорошо одновременно. Я чувствовала себя живой.

Впервые за много лет по-настоящему живой.

Потом мы шли к дому. Он отпустил мою руку, когда из-за кипарисов показалась черепичная крыша особняка. Здесь, в виду окон, мы снова были чужими: он — работником, я — барской дочкой. Я знала, что, если отец узнает об этом поцелуе, Роману придется плохо. Не потому, что отец был жесток без причины, а потому, что честь семьи — это стены, в которых нет щелей. Любой намек на то, что дочь позволила себе вольность до свадьбы, ложился пятном на репутацию, а репутация в нашем мире была единственной валютой, которая не обесценивалась. Роман это понимал не хуже меня, и молчаливое отступление было его способом защитить нас обоих.

У крыльца меня ждал Игнат. Он стоял, заложив большие пальцы за ремень, и лицо его, обветренное до кирпичной красноты, было суровым.

— Отец зовет в столовую, — бросил он без приветствия. И, скользнув взглядом по Роману, который уже отошел к винодельне, добавил. — Опоздываешь.

Я молча кивнула и вошла в дом. В прихожей висело большое зеркало в золоченой раме. Мама привезла когда-то из Италии. Я на секунду задержалась, глядя на свое отражение. Поверх футболки накинула толстовку. Она повисла бесформенным мешком, скрывая грудь и талию, объемные джинсы делали фигуру прямоугольной и скучной. Волосы, пепельные, как у матери, были затянуты в тугий узел на затылке,

не оставляя ни намека на их настоящую длину и блеск. Я умышленно одевалась так с четырнадцати лет, с того дня, когда поймала на себе взгляд одного из отцовских партнёров — маслянистый, оценивающий — и поняла, что красота здесь не дар, а проклятие. Сходство с матерью было слишком сильным, и я делала всё, чтобы его притушить, размыть, спрятать. Отец не должен видеть в моем лице покойную жену. Никто не должен.

Запах жареной баранины и пряных трав плыл из кухни, смешиваясь с горьковатым ароматом полыни, которую служанки развесили по карнизам от мух. Отец сидел во главе стола. Массивный, кряжистый, в белой рубашке навыпуск. Густые усы, проседь в волосах, на пальце — старый советский перстень с печаткой, на груди — огромный нательный крест. Он не был красивым, но от него исходила та сила, которая заставляет людей подчиняться без слов. Рядом, развалившись на стуле, сидел Гриша — мой брат, жгучий брюнет с наглыми голубыми глазами. Он унаследовал от бабки-турчанки яркую внешность, а от отца — горячность и жестокость. Он считал себя наследником только потому, что родился мужчиной. Меня же он презирал без всякой причины — просто за то, что я существую.

Я села на своё место — слева от отца, напротив пустого стула матери. Он всегда оставался пустым. Никто не смел его занять. И мне казалось, что её дух сидит там, невидимый, и смотрит на меня с укором.

— Екатерина, — начал отец. Полное имя. Значит, дело плохо. — Я принял решение. Ты едешь в Петербург.

Земля качнулась. Я подняла глаза, чего обычно не делала, и встретила с его взглядом. В нём не было ни тепла, ни сожаления — только холодная, просчитанная решимость.

— Зачем? — спросила я тихо.

Он чуть сузил глаза, и я тут же опустила взгляд.

— Ты поступишь в университет. Будешь жить под девичьей фамилией матери — Бельская. Никто не должен знать, что ты Разумовская. Это для твоей безопасности.

Безопасность. В его устах это слово означало, что где-то поблизости уже наточены ножи.

— Вяземские дали слово, что присмотрят за тобой, — продолжил он. — Дмитрий Алексеевич — человек чести. Ты будешь под их защитой.

Вяземские. У меня внутри всё оборвалось. Я слышала это имя шёпотом, в разговорах прислуги, в пьяных откровениях Гриши, в редких телефонных звонках, когда отец запирался в кабинете. Вяземские — петербургский клан, «ледяные князья», как их называли. Они не стреляли на улицах и не взрывали машины. Они решали вопросы в кабинетах, в портах, в банках. Их власть была невидимой, но абсолютной. Говорили, что Дмитрий Вяземский, «Князь», в девяносто четвёртом лично вырезал предателей и оставил их гнить в подвале. Говорили, что его жена Анна — единственная женщина в этом мире, которая имеет право голоса при муже. Го-

ворили, что их сын Иван — хладнокровный змей, который никогда не улыбается, и что его невесту убили из-за него, и с тех пор он не знает пощады.

— Там будет безопасно? — спросила я, хотя ответ был неважен.

Отец помолчал.

— Вяземские — джентльмены. Они не трогают тех, кто им не угрожает. Ты — тихая девочка. Будешь делать, что скажут, — проживёшь долго и, возможно, даже счастливо.

Счастливо. Это слово резануло слух. Я не знала, что оно значит.

— Поедешь завтра, — отрезал он, не дав мне возразить. — С тобой будет Игнат. Он довезёт тебя до квартиры, передаст ключи и доложит.

Доложит. Кому? Ему? Или уже Вяземским? От этой мысли у меня похолодели пальцы.

— Папа, — я попыталась, чтобы голос звучал ровно. — Почему я? Почему не Гриша?

Гриша фыркнул, не отрываясь от телефона.

— Потому что ты баба. Баб посылают туда, где нужно показать лояльность, а не воевать. Будешь сидеть тихо, учиться. Может, хоть там из тебя толк выйдёт.

Отец не одёрнул его. Он просто смотрел на меня, и в его взгляде я прочла то, что он никогда не говорил вслух: «Ты — никто. Твоя ценность — в твоей фамилии и в том, что ты можешь дать клану. Не подведи».

— Ты поедешь, потому что я так сказал, — закончил он.
— Иди собирайся. Только самое необходимое. Остальное купишь на месте.

Я встала из-за стола на ватных ногах. Гриша бросил мне вслед:

— Смотри не опозорь фамилию.

Разумовские. Южная кровь, казачьи корни, зерно и виноградники. Мы не были самым сильным кланом в России, но мы были нужны: наши поля кормили страну, а наши порты на Чёрном море открывали ворота в Турцию и дальше. Отец это знал и использовал. Он всегда говорил: «Сила не в деньгах, а в том, без чего другие не могут обойтись». У нас было то, без чего не могли обойтись. Поэтому нас терпели. И поэтому я всё ещё была жива.

Но жизнь женщины в клане — не жизнь. Это ожидание. Ожидание, пока тебя оценят, пока на тебя посмотрят, пока договорятся о твоей цене. Я была дочерью дона, и это значило, что моя девственность, моё лицо, моё умение молчать и улыбаться — всё это товар, который однажды выгодно обменяют на союз, на перемирие, на доступ к ресурсам. Мне уже восемнадцать, и я знала, что час торгов близок. Я только не знала, кому меня продадут.

После ужина, который прошел в молчании, я вышла в коридор, прошла мимо кухни, где пахло хлебом, мимо гостиной, где когда-то мать играла на пианино, и остановилась у её портрета. Она смотрела на меня с холста — молодая, улы-

баюющая, в белом платье. Мои глаза. Мои волосы. Её дух, которого мне так не хватало.

В комнате я закрыла дверь и долго стояла, прижавшись лбом к прохладному дереву. Дыши. Дыши. Завтра. Всё случится завтра.

Я подошла к окну, за которым уже сгустились сумерки, и замерла. Виноградники тонули во тьме. Где-то там, среди лоз, ходил Роман, и воспоминание о его поцелуе всё еще жгло губы. Я коснулась рта кончиками пальцев, пытаюсь воскресить ощущение. Мне казалось, что это было в другой жизни.

Ночью я почти не спала. Собрала сумку — только самое необходимое, как велел отец: белье, несколько свитеров, джинсы, пара закрытых платьев на случай официальных визитов к Вяземским. Фотографию матери. Косметику не взяла, только любимые яблочные духи. Никаких украшений. Я должна была раствориться, исчезнуть, стать невидимкой.

Утро началось не с тишины, а с гула. Гул был внутри — низкий, едва слышимый, как трансформаторная будка за виноградниками, которая никогда не засыпала. Я проснулась с ним, и он остался со мной на весь день, засев где-то между грудиной и горлом. Тревога. Она не имела формы, не имела имени — просто глухое знание, что сегодня случится что-то, что переломит ход вещей. В доме моего отца такие дни пахли иначе: прислуга двигалась быстрее, отец не выходил к завтраку. Игнаты, или как его все звали — Сыч мелькал во

дворе с каменным лицом. Я научилась читать эти знаки, как другие читают сводки погоды. И сегодня сводка была штор-мовая.

Я откинула одеяло и села на край кровати. Простыня подо мной была влажной от ночного пота, хотя ночи уже стояли прохладные. Мне часто снилась мать. И я просыпалась с ощущением: её духи, что-то с нотами жасмина и лимона, тяжесть её ладони на моём затылке. Сегодня она приснилась мне молчащей. Просто стояла у двери и смотрела на меня своими серо-зелёными глазами — моими глазами — и не говорила ни слова. Я проснулась с криком, застрявшим в гортани, и теперь не могла от него избавиться.

В ванной я долго умывалась ледяной водой, пока кожа не занемела. Зеркало над раковиной было старым, с потёртой амальгамой, и в нём моё лицо казалось размытым, как сквозь марлю. Может, так было и к лучшему. Я не любила смотреть на себя. Каждый раз, когда я встречалась со своим отражением, я видела её. Мать. Те же пепельные волосы, которые она носила распущенными, а я заплетала в тугой узел. Тот же разрез губ — верхняя чуть полнее нижней, — который делал нас обеих похожими на обиженных детей. Те же глаза, миндалевидные, серо-зелёные, которые, говорили, меняли цвет в зависимости от освещения: на солнце — тёплая зелень, в тени — холодная сталь. Я носила её лицо как чужую вещь, как платье, из которого давно выросла, но которое нельзя снять.

В детстве я думала, что сходство с матерью — это дар. Что отец будет любить меня за него. Я ошибалась. Он смотрел на меня и видел не дочь, а покойницу. Женщину, которую он не спас. И в этом взгляде было не горе, а обвинение — будто это я, своим существованием, напоминала ему о его провале. Он никогда не ударил меня. Ни разу. Но его молчание было страшнее ударов: оно имело вес, плотность, оно заполняло комнату и вытесняло воздух. Он мог сидеть со мной за одним столом и смотреть сквозь, будто меня не существовало, и я чувствовала, как стираюсь, исчезаю, становлюсь прозрачной. Если бы он мог, он бы вычеркнул меня из реальности, как вычёркивают ошибку в бухгалтерской книге. Только ошибки не было. Была я — живая, дышащая и ненужная.

Утром я сидела на краю кровати, уже одетая в дорожное — те же бесформенные джинсы и новую толстовку, темно-синюю, которая делала меня похожей на студентку из бедного квартала, — и смотрела на комнату, в которой прожила всю жизнь. Розовые обои, выцветшие от солнца. Полка с книгами — русская классика, учебники по экономике, пара французских романов, зачитанных до дыр. Маленький письменный стол, за которым я делала уроки. И портрет матери на столе.

— Что бы ты сделала? — прошептала я, глядя в ее глаза. — Как мне быть? Ты бы поехала? Или сбежала бы ночью, пока никто не видит?

Она молчала. Я вздохнула и отвернулась.

И тут услышала скрип. Окно я оставила приоткрытым на ночь из-за духоты — медленно поползло вверх, и на подоконник, цепляясь за раму, взобрался Роман.

Я вскочила, едва не вскрикнув. Сердце подпрыгнуло к горлу и там застряло. Он прижал палец к губам, и его глаза смеялись, хотя лицо было серьезным. В утреннем свете, падавшем из окна, он казался почти нереальным — бронзовый от загара, в мятой клетчатой рубашке и старых кроссовках.

— Ты с ума сошел? — прошептала я, хватая его за рукав и втягивая в комнату. — Если отец узнает...

— Не узнает, — он закрыл окно за собой и выпрямился, с высоты своего роста глядя на меня. — Я не мог не прийти. Слышал, ты уезжаешь. Правда?

— Правда. В Петербург. Сегодня.

Он нахмурился. Его густые брови сошлись на переносице, и я впервые увидела в его взгляде что-то похожее на боль.

— И когда вернешься?

— Не знаю. Может, никогда.

Повисла тишина. Он стоял так близко, что я снова чувствовала его запах — тот самый, виноградный, с ноткой пота и утренней свежести. Его ладони легли на мои плечи, большие и горячие, и я вздрогнула не от страха, а от того, как сильно мне хотелось податься вперед.

— Я буду ждать, — сказал он низко. — Слышишь, Кать? Я буду ждать тебя.

Я не знала, что ответить. В горле пересохло. Мне хоте-

лось сказать ему, что это невозможно — что отец никогда не отдаст меня за сына бригадира, что меня продадут тому, кто принесет клану больше пользы, что наша с ним история закончилась, не начавшись. Но слова не шли. Вместо этого я поднялась на цыпочки и сама поцеловала его — неумело, отчаянно, вкладывая в этот поцелуй всё, что не могла выразить словами.

Он ответил сразу — горячо, жадно, не сдерживаясь. Вчера он был нежен. Сегодня он был голоден. Его язык проник в мой рот властно, требуя. И я поддалась, потому что мне нравилось это чувство — быть нужной, желанной, живой. Его руки скользнули с моих плеч на спину, прижали меня к груди, и сквозь ткань толстовки я чувствовала жар его тела, твердость мышц, бешеный стук сердца — его или моего, я уже не различала.

Он целовал меня иначе, чем вчера. Глубже, требовательнее, с той самой опытностью, которая и притягивала, и отталкивала. Его язык знал, что делать. Он играл с моим то отступая, то наступая, и от этой игры у меня кружилась голова. Его ладони переместились ниже, на талию, а потом одна скользнула под край толстовки.

Горячие пальцы коснулись голой кожи, и я дернулась, как от разряда тока. Это было слишком.

— Нет, — выдохнула я, отстраняясь и упираясь ладонями в его грудь. — Рома, нет.

Он замер. Дыхание его было тяжелым, глаза — черными

от расширенных зрачков, но он остановился. Сразу. Медленно убрал руку из-под одежды и отступил на шаг, давая мне пространство.

— Извини, — прошептал он. — Я... увлекся.

Я отрицательно покачала головой. Злиться на него не получалось, хотя тело еще дрожало от возмущения и чего-то другого — темного, сладкого, пугающего.

— Ты не должен был приходить, — сказала я. — Это слишком опасно.

— Знаю. — Он криво улыбнулся той самой обезоруживающей улыбкой, которая делала его похожим на нашкодившего мальчишку. — Но я подумал: если я не попрощаюсь, то не прощу себе.

Он снова привлек меня к себе, но теперь — бережно, как тогда, в винограднике, и поцеловал в лоб. Так целуют не любовниц, а тех, кого боятся потерять навсегда.

— Береги себя, Екатерина Сергеевна, — сказал он. — И возвращайся. Когда-нибудь.

Я кивнула, не доверяя голосу. Он в последний раз сжал мои пальцы, отпустил и, ловко перемахнув через подоконник, исчез так же бесшумно, как появился.

Я осталась стоять у окна, прижимая ладонь к губам. Вкус его всё еще был на языке, и вместе с ним привкус вины, страха и чего-то щемящего, чему я не могла дать названия.

Через час за мной пришел Сыч. Я отдала ему сумку и, не оглядываясь на комнату, на портрет матери, на распахнутое

окно, вышла к машине.

Впереди был Петербург — чужой, холодный, пугающий. Впереди были Вяземские, холодные и пугающие. Но еще впереди впервые за много лет был воздух, который не пропитан страхом перед отцовским взглядом. Несколько недель, может быть, месяцев, когда я смогу дышать сама, не спрашивая разрешения. Клетка оставалась клеткой, просто теперь она была просторнее и дальше от дома. Но и это уже было похоже на свободу.

Глава 2. Город свинца и воды

Пешка — самая слабая фигура на доске, но именно она начинает любую партию. И только от игрока зависит, дойдёт ли она до края и станет королевой.

Катя

Пилот объявил, что самолёт идет на посадку, и я выглянула в иллюминатор, впервые увидев Петербург.

Он лежал внизу, распластавшись под брюхом лайнера, как старая гравюра, которую кто-то забыл раскрасить. Небо — плоское, белёсое, без единого просвета. Земля — серая, исчерченная нитями дорог и ржавыми квадратами крыш. Где-то вдали блеснула свинцовая полоса залива, но даже вода здесь казалась не живой, а металлической, как ртуть. Я прижалась лбом к иллюминатору и почувствовала, как внутри что-то сжимается. Холодно. Здесь всегда холодно, даже в начале сентября. Мне рассказывали, что в Петербурге триста дней в году дождь, а остальные шестьдесят пять — просто мокрый снег. Я не верила. Теперь, глядя на это небо, начала верить.

Сыч сидел в соседнем кресле и всю дорогу спал, откинув голову и приоткрыв рот. Его храп был похож на звук трактора, застрявшего в грязи. Меня это почему-то раздражало меньше, чем его молчание. По крайней мере, храп был честным. В нём не было ни пренебрежения, ни холодного расчё-

та, только усталость немолодого человека, который слишком много курит и слишком мало спит.

— Пристегните ремни, — раздался голос пилота из динамиков. — Идём на посадку. В Петербурге плюс двенадцать, дождь.

Плюс двенадцать. Я мысленно попрощалась с кубанским солнцем.

Шасси коснулось полосы с мягким толчком, и самолёт покатился по мокрому бетону. За окном поплыли ангары, заправочные машины. Всё было серым, даже зелень — редкие деревья вдоль взлётной полосы стояли пожухлые, будто присыпанные пеплом. Я глубоко вздохнула и поправила толстовку. Ладно. Я сюда не на курорт приехала. Я здесь — чтобы исчезнуть, раствориться, стать никем. И с этим, кажется, проблем не будет. В городе такого цвета даже самый яркий человек рискует поблекнуть.

В здании аэропорта нас встретил мужчина. Он стоял у выхода из VIP-зала, небрежно прислонившись к колонне, и выглядел так, будто сошёл с обложки журнала «Как потратить миллион, не напрягаясь». Высокий, светловолосый, с ленивой улыбкой, которая, казалось, никогда не сходила с его лица. Одет он был в безупречно сидящее пальто песочного и держал в руке стаканчик с кофе, из которого торчала трубочка. При виде нас он отсалютовал стаканчиком, как бокалом шампанского.

— Екатерина Сергеевна, полагаю? — его голос был бар-

хатным, с той самой петербургской интонацией, которую я прежде слышала только в старых фильмах. — Георгий Барятинский. Можно просто Гера. Я друг Ивана Дмитриевича, меня прислали встретить Вас и доставить в целости. Вы, кстати, не похожи на кубанскую казачку. Где папаха? Где шашка? Я разочарован.

Я моргнула, не зная, как реагировать. Сыч за моей спиной хмыкнул — не то одобрительно, не то осуждающе.

— Папаху забыла в самолёте, — ответила я, сама удивляясь тому, что вообще смогла выдавить из себя шутку. — Шашку сдала в багаж, сказали нельзя в ручной клади.

Гера расхохотался — легко, искренне, будто мы были старыми друзьями.

— О, у этой девочки есть чувство юмора! — объявил он, обращаясь непонятно к кому. — Это большая редкость в наших широтах. Здесь все такие серьёзные, что даже голуби хмурятся. Пойдёмте, машина ждёт.

Он развернулся и зашагал к выходу, не оглядываясь, явно привыкший, что за ним следуют. Мы пошли следом — я, Сыч с моей сумкой. Гера болтал на ходу, и его голос лился непрерывным потоком, как тёплая вода:

— Вы впервые в Петербурге? О, это заметно. У вас взгляд такой... обречённый. Не переживайте, это нормально. Петербург всех встречает так: «Здравствуй, путник, сейчас я тебя раздавлю, а потом, может быть, если ты выживешь, ты меня полюбишь». Это как стокгольмский синдром, только с

архитектурой. Кстати, о Стокгольме — вы знаете, что наш город построен на болоте? Буквально. Идёте Вы по Невскому, а под вами — трясина и кости строителей. Романтика!

— Вы всегда такой... разговорчивый? — спросила я, не удержавшись.

— Только когда волнуюсь, — он обернулся и подмигнул. — А я всегда волнуюсь. Жизнь такая непредсказуемая штука. Особенно в нашем кругу. Вы пока этого не знаете, но узнаете. Иван, кстати, просил передать, что рад вашему приезду.

Я чуть не споткнулась на ровном месте.

— Правда?

— Нет, — Гера снова расхохотался. — Иван никогда никому не рад. Он вообще не умеет радоваться. По-моему, он родился с выражением лица «мне всё должны». Но вы не бойтесь, он не кусается, если его, конечно, не дразнить.

Эта шутка мне понравилась меньше. Я вспомнила всё, что слышала о ледяном принце, и поёжилась. Гера заметил и, кажется, пожалел о сказанном, потому что тут же сменил тон.

— Ладно, ладно, я шучу. Иван — сложный человек, но он справедливый. Вы под его крылом, а это значит, что никто в этом городе не посмеет Вас тронуть. Расслабьтесь. Ну, насколько это возможно, когда за Вами присматривает самый опасный человек северо-запада.

Я не расслабилась. Но кивнула и постаралась улыбнуться. Машина оказалась чёрным седаном представительского

класса — огромным, как корабль, с кожаным салоном, пахнущим новой обивкой и каким-то дорогим освежителем. Гера сел за руль сам, что меня удивило: я полагала, у таких, как он, есть водитель.

— Я люблю водить, — объяснил он, перехватив мой взгляд в зеркале заднего вида. — Это единственное время, когда мне никто не звонит. Ну, почти никто. Если зазвонит телефон, игнорируйте. Это либо кредиторы, либо бывшие, либо кредиторы бывших.

Сыч сел на переднее пассажирское, и через пять минут уже снова спал, уронив голову на грудь. Гера покосился на него с уважением.

— Ваш телохранитель обладает уникальным талантом. Я бы тоже хотел так уметь — засыпать в любой позе и при любых обстоятельствах. Наверное, это дзен.

— Это не дзен, — сказала я, глядя в окно. — Это двадцать пять лет выслуги.

— О, так он ветеран? Тогда понятно. Ветераны либо спят как младенцы, либо не спят вообще. Третьего не дано.

Мы выехали на трассу, и город начал медленно обступать нас. Сначала — промзоны, серые коробки складов, бетонные заборы. Потом — жилые кварталы, панельные дома, уходящие в небо, как утёсы. Архитектура здесь была другой: тяжёлой, массивной, с колоннами и лепниной, но какой-то облупленной, словно город носил свою красоту как старое пальто — с достоинством, но без особой надежды, что его кто-то

оценит. Я смотрела на всё это и чувствовала себя инопланетянкой. На Кубани дома были приземистыми, тёплыми, из кирпича и ракушечника. Здесь — холодный камень, гранит, серый и розоватый, влажный от вечной мороси.

— Нравится? — спросил Гера, перестраиваясь в левый ряд.

— Красиво, — честно ответила я. — Но мрачно.

— О, это ты ещё не видела Обводный канал в ноябре. После него любая готическая сказка кажется комедией. Но в Петербурге есть своя магия. Он затягивает. Сначала ты его ненавидишь за холод и сырость. Потом привыкаешь. А потом не можешь уехать. Это как отношения с токсичным партнёром — мучительно, но почему-то тянет.

— У вас богатый опыт токсичных отношений? — спросила я не без иронии.

— Я — эксперт, — он картинно вздохнул. — Моё сердце разбито столько раз, что оно теперь как пазл из тысячи деталей, и половину из них я потерял при переезде. Но я не жалею. Я наслаждаюсь страданием. Это по-петербургски.

Я невольно улыбнулась. С ним было легко. Слишком легко для человека, который работает на Вяземских. Я напомнила себе, что он друг Ивана, а значит — часть системы. Но пока мы ехали по мокрым улицам, слушая его бесконечную болтовню, я почти забыла о страхе. Почти.

Квартира, в которую меня привезли, находилась в старом доме на Петроградской стороне. Высокие потолки, лепни-

на, скрипучий паркет — и запах. Запах старого дерева, книг, времени. Не затхлый, а тёплый, как в бабушкином доме, если бы у меня была бабушка. Гера распахнул дверь и театральным жестом пригласил войти.

— Прошу! Апартаменты категории «студентка с тайной». Скромно, но со вкусом. Мебель из ИКЕА, шторы из масс-маркета, и лучший вид из окна — на помойку. Романтика большого города.

Я вошла и огляделась. Гостиная, совмещённая с кухней, крошечная спальня, чугунная ванная — не роскошь, но и не трущобы. Всё чистое, аккуратное, безликое.словно номер в отеле, который ждёт постояльца. Моя сумка уже стояла в углу спальни — Сыч занёс её, буркнул что-то про «дела» и исчез за дверью прежде, чем я успела спросить, когда он вернётся и вернется ли.

Гера проводил его взглядом и хмыкнул.

— Немногословный парень. Мне нравится. Редкий талант — молчать и при этом выглядеть так, будто ты всё знаешь. Ладно, Екатерина Сергеевна, расклад такой. Ключи на тумбе, тут же телефон местный, с сим-картой. Если что-то понадобится — звоните мне. Мой номер вбит в телефон первым. Ивану пока не звоните, он занят и вообще не любит, когда ему звонят без повода. У Вас есть какие-то вопросы, пожелания?

— Вроде бы всё, — сказала я, всё ещё оглядываясь.

— Тогда я откланяюсь. Ах да, чуть не забыл. Завтра в де-

сять утра за вами заедет машина и отвезёт в университет. Первый день, не опаздывайте. Преподаватели у нас строгие, особенно к тем, кто не из Петербурга. У них тут свой снобизм. Если спросят, откуда вы — говорите, что из Ставрополя. Это звучит достаточно скучно, чтобы не вызывать вопросов.

Он направился к выходу, но на пороге задержался.

— И ещё. Вы в городе инкогнито, но это не значит, что вы невидимы. Люди Вяземских будут присматривать за вами. Не пугайтесь, если заметите одну и ту же машину у дома. Это охрана. И да — постарайтесь не влюбиться в Ивана. Это будет довольно сложно. То есть получается просто. В смысле, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, Вы поняли.

Я кивнула, хотя ничего не поняла. Гера подмигнул и исчез за дверью.

Тишина обрушилась мгновенно. Я стояла посреди чужой квартиры в чужом городе и слушала, как за окном шумит дождь. Капли барабанили по жестяному подоконнику — размеренно, монотонно, словно отсчитывали секунды моей новой жизни. Я прошлась по комнатам, потрогала шторы, полистала учебники на столе, открыла холодильник. Внутри лежали яблоки, яйца, молоко, пакеты разного сока, пара контейнеров с полуфабрикатами. Яблоки были зелёные, кислые на вид. Я подумала о Романе — о том, как он сказал, что я пахну яблоком, и сразу стало тоскливо.

Первая ночь в Петербурге была испытанием. Я лежала на

узкой кровати, уставившись в потолок, и прислушивалась. Дом жил своей жизнью. За стеной кто-то спорил — глухо, без слов, одними интонациями. Сверху доносились шаги — кто-то ходил из угла в угол, как маятник. За окном проезжали редкие машины, и свет фар скользил по потолку, рисуя призрачные желтые квадраты. Я ворочалась, считала шаги, пыталась представить себе человека наверху. Студент? Пенсионер? Убийца? Здесь, в городе Вяземских, я уже ничему не удивлюсь.

Я думала о доме. Об отце, который, наверное, уже забыл обо мне. О Грише, который сейчас наверняка развлекается в городе с друзьями. О матери, чей портрет остался в пустой комнате. Отказались ли от меня? Да. Отказались. Но я сама хотела этого — хотя бы глотка воздуха, хотя бы иллюзии свободы.

Утром я проснулась с ощущением, что не спала вовсе. Дождь всё шёл. Я встала, умылась ледяной водой (горячая пошла только через пять минут), оделась в привычные джинсы, толстовку, собрала пучок на затылке и вышла из дома. Машина уже ждала. За рулём сидел незнакомый мужчина, молчаливый. Он кивнул мне, я села, и мы поехали.

Университет находился в центре, в старинном здании с колоннами и гранитными ступенями, стёртыми тысячами ног. Я стояла перед входом, сжимая в руке папку с документами, и чувствовала себя самозванкой. Вокруг сновали яркие, шумные студенты в модных шарфах и очках. Девушки

с идеальными укладками, парни с рюкзаками за одно плечо. Они говорили громко, смеялись, обсуждали какие-то вечеринки, и в их речи то и дело проскальзывали словечки, которых я не понимала. Я вдруг остро осознала, что моя толстовка стоит как их обед, а мой пучок — не модный минимализм, а просто неухоженность. В Краснодаре я была невидимкой. Здесь я была невидимкой другого сорта — провинциальной, смешной, чужой.

В деканате меня ждали. Сухая женщина в очках проверила мои документы, хмыкнула, глядя на фамилию «Бельская», и протянула студенческий билет.

— Экономический факультет, группа 2026. Расписание на сайте. Стипендия — как у всех, три тысячи. Если будут задолженности — отчислим. У нас тут не курорт.

— Я знаю, — сказала я. — Я и не отдыхать приехала, а получить хорошее образование.

Она посмотрела на меня поверх очков, и в её взгляде мелькнуло что-то похожее на уважение. Или жалость. Я не разобрала.

Первая пара была по экономической теории. Я вошла в аудиторию, села на свободное место у окна и открыла тетрадь. Дождь барабанил по стеклу. Профессор, пожилой мужчина с бородкой клинышком, монотонно рассказывал о спросе и предложении, и его голос сливался с шумом дождя в сплошной белый шум. Я старалась записывать, но мысли улетали далеко: к Роману, к отцу, к Вяземским. Где они сей-

час? Что думают обо мне? Думают ли?

— Скучаешь?

Я вздрогнула. Девушка с соседнего ряда перегнулась через парту и смотрела на меня с искренним любопытством. У неё были рыжие волосы, собранные в два растрёпанных пучка, веснушки на носу и такая широкая улыбка, что у меня на секунду заболели собственные щёки от одного взгляда на неё.

— Немного, — призналась я.

— Я Анастасия, — она протянула руку. — Можно Настя. Можно Настюха. Можно «эй ты, рыжая». Я на всё отзываюсь. Не видела тебя раньше.

— Катя, — я пожала её ладонь. — Да, только вчера приехала.

— Откуда?

— Из Ставрополя.

— О, южанка! — она просияла, как будто я сообщила, что приехала с Марса. — Обожаю южан. У вас там тепло, мандарины, море. А тут — смотри, что творится. Это ещё сентябрь. В ноябре тут будет хтонь.

— Хтонь?

— Ну, мрак, безысходность, вселенская тоска. Петербургская специфика. Ты привыкнешь. Или сопьёшься. Я пока на стадии привыкания.

Я не удержалась и фыркнула. Настя смотрела на меня с таким неподдельным энтузиазмом, что сопротивляться было

невозможно.

— Ты на кого учишься? — спросила она.

— На экономиста.

— О, скука. Я тоже. Но я на самом деле хочу быть режиссёром. Просто родители сказали: «Сначала нормальную профессию получи, а потом снимай своё артхаусное кино про страдания унитаза». Унитазы, кстати, отличная метафора общества потребления.

— Ты серьёзно? — я не знала, смеяться или ужасаться.

— Абсолютно! — она подняла указательный палец. — Представь: фильм открывается сценой, где унитаз плачет, потому что его не чистят. Это же драма! Накал страстей!

Я засмеялась. Впервые за долгое время — по-настоящему, искренне, но тихо, прикрывая рот ладошкой, чтобы препод не слышал. Настя смотрела на меня с победной улыбкой, явно гордая произведённым эффектом. Когда утих смех, она наклонилась ко мне и сказала — уже тише, серьёзнее.

— Слушай, а давай после пар в столовую? Тут кормят так себе, зато кофе ничего. Я тебе расскажу, кто из преподавов зверь, а кто так, пушистик.

— Давай, — согласилась я. Кажется, у меня появилась подруга.

В столовой пахло выпечкой и дешёвым кофе. Мы сели за шаткий столик у окна, и Настя тут же начала выкладывать местные сплетни: кто с кем спит, кто провалил сессию, кто из профессоров берёт взятки. Я слушала вполуха, но внутри у

меня теплело. Это было так нормально. Так по-человечески. Так непохоже на ужины в отцовском доме, где каждое слово взвешивали, как золото, и где молчание значило больше, чем речь.

— А ты где живёшь? — спросила Настя, помешивая сахар в чашке.

— На Петроградке. Снимаю квартиру.

— Ого! Богатенькая. Я в общежитии, на Ваське. Там, правда, клопы и соседка-меломанка, которая в три ночи включает Шопена, но зато дешёво. Приходи в гости, если не боишься.

— Приду, — пообещала я.

Она улыбнулась, и я вдруг подумала, что, возможно, Петербург — не только холод и дождь. Возможно, здесь есть и что-то тёплое и веселое.

Когда пары закончились и я вышла из университета, дождь, наконец, перестал. Небо оставалось серым, но в разрывах туч мелькнуло что-то похожее на бледный луч солнца. Я стояла на крыльце и смотрела, как студенты расходятся по домам. Вдалеке, у обочины, я заметила ту самую машину — чёрный седан, который, как говорил Гера, будет «присматривать». От этой мысли стало неудобно, но я постаралась не думать об этом. Я — под защитой, повторяла я про себя, как заклинание. Под защитой. Не в плену.

Вечером я сидела на подоконнике с чашкой чая и смотрела на огни города. Петербург мерцал внизу, как россыпь холодных бриллиантов. Где-то там, в особняке на Каменном

острове, жил человек, которого я боялась больше всего на свете. И завтра — или послезавтра — мне предстояло с ним встретиться. Но сегодня у меня был один день передышки. Один день тишины. Один день свободы, пусть и иллюзорной.

Я отпила чай и впервые за долгое время почувствовала, что, возможно, справлюсь. Возможно. Только, пожалуйста, Господи, пусть Иван Вяземский окажется не таким страшным, как о нём говорят. Или хотя бы пусть он меня не заметит.

Глава 3. Знакомство с ледяным принцем

Катя

Утро началось с того, что я примерила два разных платья и, в итоге, остановилась на третьем — тёмно-синем, который, как мне казалось, делал меня похожей на студентку библиотечного факультета, а не на дочь человека, чьи виноградники кормили четверть юга России. Я стояла перед зеркалом в крошечной ванной, втягивала живот, расправляла плечи и пыталась представить, что выгляжу достойно. Зеркало, однако, было безжалостным: оно отражало бледную девушку с тёмными кругами под глазами. Это вообще было странно иметь на юге бледную кожу, но это тоже часть генов матери, перешедшая мне. Длинное максимально закрытое платье, кажется, вопило: «Я не хочу, чтобы на меня смотрели». Это было правдой. Я не хотела. Особенно сегодня.

Сегодня был день официального визита в особняк Вяземских. «Официальный визит» — звучало как приговор. Даже в мыслях эти слова отдавали холодом, формальностью и чем-то таким, от чего у меня сжимался желудок. Я знала, что Вяземские — это не просто семья. Это институция, как Эрмитаж или Смольный собор, только с той разницей, что в Эрмитаже на вас смотрят портреты, а здесь — живые люди,

чей взгляд может решить вашу судьбу. И самым страшным из этих людей был тот, с кем мне сегодня предстояло встретиться. Иван Вяземский.

Гера позвонил ровно в восемь.

— Екатерина Сергеевна, доброе утро! — его голос искрился бодростью, совершенно неуместной для такого раннего часа. — Надеюсь, вы уже выпили свой утренний кофе, помолились всем богам и готовы к встрече с аристократией в её естественной среде обитания? Машина будет через пятнадцать минут. Одевайтесь теплее, на Каменном острове всегда ветер с залива, а Анна Дмитриевна любит прогулки по саду. Если вы простудитесь, Иван меня убьёт, а я ещё слишком молод и красив, чтобы умирать.

— Я готова, — солгала я. — Почти.

— Почти — это наше всё. Жду внизу. И да, не забудьте папаху. Шучу.

Он повесил трубку, а я ещё минуту стояла, держа телефон в руке и глядя на своё отражение. Собраться с духом. Собраться. Я — просто девушка. Он — просто человек. Люди не кусаются. Не убивают просто так. Им меня защищать надо. Так что все хорошо.

Ложь была сладкой, но недолговечной.

Особняк Вяземских находился на Каменном острове — тихом, утопающем в зелени уголке Петербурга, куда редко заезжали случайные прохожие. Здесь жили те, кто мог позволить себе не видеть соседей. Мы миновали чугунные во-

рота с гербом — два скрещённых меча на фоне ладьи, символ, который, как мне потом рассказали, придумала Анна ещё в девяностые, когда семья только начинала обживать этот дом. Длинная подъездная аллея, обсаженная липами, вела к особняку, который был не столько домом, сколько маленьким дворцом: три этажа, колонны, панорамные окна, серая гранитная отделка. Всё дышало старым богатством и той особой петербургской элегантностью, которая не кричит, а нашёптывает.

— Красиво, — сказала я, когда машина остановилась у парадного входа.

— Ага, — отозвался Гера, глуша мотор. — Внутри всё ещё красивее. И страшнее. Не бойтесь, Анна Дмитриевна — святая женщина. Если бы не она, Иван давно бы съел нас всех на завтрак.

— Вы преувеличиваете, — пробормотала я, хотя сердце колотилось где-то в горле.

— Ничуть. Ладно, идёмте. Княгиня ждёт.

Он распахнул передо мной дверь, и я шагнула в дом, который пах антикварной мебелью, воском и свежими цветами. Просторный холл с мраморным полом и хрустальной люстрой, лестница, уходящая вверх плавным изгибом, картины на стенах — пейзажи, портреты, что-то, похожее на подлинники девятнадцатого века. В этом доме была история.

Анна встретила нас в гостиной — светлой комнате с камином, мягкими креслами и роялем у окна. Она поднялась

нам навстречу, и я невольно залюбовалась ею. Анна Вяземская была красива той особой красотой, которая с годами становится только выразительнее: серебристые волосы, уложенные в низкий аккуратный пучок, тонкие черты лица, умные серые глаза, которые, казалось, видели всё насквозь, но при этом были мягкими. На ней было платье глубокого изумрудного цвета, облегающее, но не вызывающее, и жемчужное ожерелье в три нити. Она не выглядела как женщина, которая командует империей. Она выглядела как хозяйка салона, в котором когда-то собирались поэты. Но я знала, что это впечатление обманчиво.

— Екатерина! — она улыбнулась и шагнула ко мне, протягивая руки. — Наконец-то. Я так рада Вас видеть. Сергей Николаевич столько о Вас рассказывал. Идите сюда, дайте на Вас посмотреть.

Я послушно приблизилась, и она взяла мои руки в свои — тёплые, сухие ладони с длинными пальцами. От неё пахло ландышем и чем-то ещё, едва уловимым — может быть, ванилью.

— Вы замёрзли, — констатировала она. — Этот ужасный петербургский ветер. Садитесь к камину. Гера, будьте любезны, попросите, чтобы нам принесли чай. И плед. Нет, два пледа. Вы, Екатерина, совсем бледная. Вас что, не кормили?

— Кормили, — выдавила я, чувствуя, как щёки заливают краска. — Просто я...

— Бойтесь, — закончила она за меня, и её глаза потепле-

ли. — Не надо. Я понимаю, что наша семья имеет... репутацию. Но поверьте, мы не кусаемся. По крайней мере, до обеда.

Я невольно улыбнулась. В её голосе была ирония, которая чуть-чуть разрядила напряжение. Гера, поклонившись с комической торжественностью, исчез за дверью, а я села в кресло, которое оказалось мягче, чем любое облако на кубанском небе. Анна устроилась напротив, поджав ноги, и сразу стала казаться не грозной княгиней, а просто красивой женщиной, которая хочет поболтать.

— Расскажите мне о Краснодаре, — попросила она. — Я была там один раз, очень давно, когда мы с мужем только начинали бизнес. Помню запах полыни и удивительные закаты. Вы скучаете по дому?

— Скучаю, — призналась я. — Но там... сложно.

— Понимаю. Семьи — это всегда сложно. Особенно такие, как наша. Но здесь, в Петербурге, вы можете быть кем захотите. Никто не будет вас принуждать к тому, чего вы не хотите.

Я опустила глаза. Хотелось верить ей, но я слишком хорошо знала, что даже здесь моя свобода — это иллюзия, тщательно выстроенная взрослыми мужчинами, которые делят карты и ресурсы. Однако в голосе Анны было что-то такое, что заставляло хотя бы попытаться расслабиться.

— Чай, — объявил Гера, возвращаясь с подносом. За ним шла горничная с двумя пледом и вазочкой печенья. — Ан-

на Дмитриевна, вы как всегда правы: чай решает все проблемы. Если бы мировые лидеры пили чай вместе, войн бы не было. Вот, Екатерина Сергеевна, это с мятой и мёдом. Мятный чай — лучшее лекарство от нервов. Проверено на мне. Я, правда, очень нервный, как белка в колесе.

— Спасибо, — я взяла чашку, и тепло фарфора немного успокоило дрожь в пальцах. — Вы всегда так заботитесь о гостях?

— Только о тех, кто нравится Анне Дмитриевне, — отозвался он, плюхаясь в кресло без приглашения, но Анна даже бровью не повела. Очевидно, такая вольность была в порядке вещей. — А Вы ей нравитесь. Она уже дважды назвала вас «Екатерина», а не «Разумовская», это высшая степень расположения. Обычно она говорит «эта девочка» или «приезжая», пока не проникнется. Так что Вы в фаворе.

— Гера, — Анна погрозила ему пальцем, но глаза её смеялись. — Не пугайте гостью раньше времени.

— Я не пугаю, я просвещаю.

Мы болтали ещё минут пятнадцать. Анна расспрашивала об университете, о том, как я устроилась, не холодно ли в квартире. Я отвечала односложно, но постепенно скованность уходила. В этой комнате с камином, чаем и лёгким смехом, было почти уютно. Почти безопасно.

А потом дверь открылась.

Я не услышала шагов — только лёгкий скрип петель и внезапную тишину, которая воцарилась в комнате, как будто

сам воздух замер. Я подняла глаза — и забыла, как дышать.

Иван Вяземский стоял в дверях, заполняя собой проём, и это не было метафорой. Он был высок — значительно выше Геры, выше отца, выше любого мужчины, которого я когда-либо видела. Широкие плечи, обтянутые тёмно-серым свитером тонкой вязки, чёткая линия челюсти, тёмные волосы, зачёсанные назад, и глаза. Боже, его глаза. Серо-голубые, прозрачные, как лёд на Неве в январе, они смотрели на меня с таким выражением, будто я была пятном на ковре, которое не сразу заметили, но теперь заметили и не знают, как вывести.

Он не был красивым в общепринятом смысле. Слишком резкие черты, слишком тяжёлый взгляд, слишком много в нём было чего-то... опасного. Но он был притягателен так, как бывает притягателен огонь. От него исходила сила — не та животная сила, которая в кулаках и плечах, а другая, внутренняя, холодная, как сталь клинка. Сила человека, который привык, что мир ложится у его ног не потому, что он просит, а потому, что он так решил.

Он пересёк комнату двумя широкими шагами, поцеловал мать в щеку, отошел к камину и, не глядя ни на кого, кроме матери, произнёс низким, лишённым эмоций голосом:

— Это она?

Анна, ничуть не смущённая его тоном, кивнула.

— Да, Иван. Екатерина, дочь Сергея Николаевича Разумовского. Познакомься.

Он медленно повернул голову и взглянул прямо на меня. Этот взгляд длился всего пару секунд, но я успела почувствовать всё: как холодок пробегает по коже, как сжимается в груди что-то, чему я не знала названия, как колени становятся ватными, а пальцы впиваются в чашку так, что фарфор жалобно звенит. Он скользнул взглядом по моему лицу, по платью — и в его глазах мелькнуло что-то, похожее на раздражение. Или пренебрежение. Или скуку. Я не успела разобраться, потому что он тут же отвёл глаза и снова обратился к матери.

— Я думал, это не займёт много времени. Мне нужно ехать.

Голос его был ровным, но в нём слышался подтекст: «Зачем я здесь?» Анна вздохнула.

— Иван, будь вежлив. Екатерина будет жить в Петербурге, учиться. Мы обещали её отцу присмотреть за ней.

— Я помню, — сухо ответил он. — Именно поэтому я здесь. Отец просил встретить. Я встретил.

Он снова перевёл взгляд на меня, и на этот раз задержался чуть дольше. Я почувствовала, как краснею, и прокляла свою бледную кожу, на которой любой румянец был виден за километр. Его губы чуть дёрнулись — не то усмешка, не то гримаса.

— Добро пожаловать в Петербург, — сказал он таким тоном, каким обычно говорят «будьте любезны покинуть помещение». И вышел.

Дверь закрылась за ним с мягким щелчком, а я осталась сидеть, вцепившись в чашку и чувствуя, как гулко колотится сердце. Комната вдруг стала пустой, несмотря на то, что в ней по-прежнему были Анна, Гера и горничная. Пространство сжалось до размеров моего кресла, и в этом пространстве не было воздуха.

— Простите его, — голос Анны донёсся как сквозь вату.
— Он всегда такой. Не принимайте на свой счёт.

— Да, — поддержал Гера, скорчив гримасу. — Если бы Иван Дмитриевич улыбнулся, небо бы рухнуло. Это такой местный фольклор: «Ледяной принц». Вам, кстати, повезло: он хотя бы сказал «добро пожаловать». Обычно он просто смотрит, и люди решают, что им пора уходить.

Я кивнула, но слова не шли. Я всё ещё видела перед собой его глаза — холодные, как нельская вода, и в то же время обжигающие. Я чувствовала его присутствие, хотя он уже ушёл. Его запах — дорогой парфюм, древесный, с ноткой табака и чего-то ещё, мускусного, — висел в воздухе, и я вдыхала его, как наркотик. Меня трясло.

— Екатерина, Вы в порядке? — Анна коснулась моей руки.

— Да, — выдохнула я. — Просто... он очень...

— Пугающий? — подсказал Гера. — Да, это его суперсила. Но знаете, что я вам скажу? Иван пугает только тех, кого не знает. А когда узнает, пугает ещё больше. Но Вы привыкнете. Тут все привыкают. Это как жить рядом с вулканом:

сначала страшно, потом ты начинаешь выращивать на склонах виноград, а потом извержение — и ты вспоминаешь, почему боялся.

— Гера, прекратите, — Анна укоризненно покачала головой. — Екатерина, не слушайте его. Мой сын действительно непростой человек, но он никогда не причинит вреда тому, кто находится под нашей защитой. А Вы — под нашей защитой.

Под защитой. Я снова вспомнила слова отца и почувствовала горечь. Защита, о которой все твердили, почему-то ощущалась как заточение. Я была не гостем. Я была активом. Пешкой, которую передали на хранение, пока она не понадобится для большой игры. И Иван Вяземский знал это. Он посмотрел на меня как на вещь и ушёл.

Но почему тогда, когда он ушёл, мне стало так холодно?

— Я, пожалуй, пойду, — сказала я, поднимаясь. — Спасибо вам за чай, за тёплый приём. Я очень благодарна.

— Мы ещё увидимся, — Анна обняла меня на прощание, и это объятие было искренним и теплым, почти материнским. — Если что-то понадобится — звоните. Я дам вам номер, по которому можно связаться со мной напрямую. И, Екатерина, не бойтесь его.

Я кивнула, хотя в душе не верила ни единому слову. Он был льдом, который не тает даже летом. И я, девочка с Кубани, привыкшая к солнцу, могла только смотреть на этот лёд и бояться, что однажды поскользнусь.

Гера проводил меня до машины, всю дорогу развлекая байками о том, как однажды Иван едва не заморозил фонтан в Петергофе, просто проходя мимо. Я смеялась, потому что нужно было смеяться, но мыслями была далеко. Вернее, не далеко. В комнате с камином, где только что стоял человек, в чьих глазах я увидела что-то, чего не должна была видеть. Что-то, что заставило моё сердце биться быстрее. И это было не просто страхом.

Глава 4. Командный тон

Иван

Из гостиной я направился в кабинет отца. Я знал, о чём пойдёт речь ещё до того, как он открыл рот. В нашем доме новости распространялись быстрее, чем сплетни в курилке Смольного, а уж новость о приезде краснодарской девицы обсуждали даже охранники на воротах. «Дочь Разумовского», «инкогнито», «будет жить на Петроградке» — я слышал эти обрывки весь день и пропускал мимо ушей. Мне было плевать. У меня своих забот хватало: портовые контракты, переговоры с финнами, пара человек, которых следовало навестить в тихом месте без камер. А тут — девица. Очередная провинциальная дурочка, которую папочка сплавил подалее от греха.

Кабинет отца находился в восточном крыле особняка — комната с высокими потолками, дубовыми панелями и книжными шкафами до самого карниза. Пахло старым деревом, табаком и коньяком, хотя отец не пил уже много лет. Запах въелся в стены за десятилетия и не собирался уходить. Я вошёл без стука, потому что меня ждали, и остановился у двери.

Дмитрий Алексеевич Вяземский сидел за письменным столом — прямой, поджарый, в безупречной белой сорочке с запонками из белого золота. В свои шестьдесят пять он

выглядел так, что мог бы дать фору любому сорокалетнему: сухая фигура, благородная седина на висках, холодные серые глаза, которые редко моргали. «Князь». Человек, вырезавший собственную бригаду в девяносто четвёртом, потому что они посмели угрожать его семье. Человек, построивший империю на костях и контрактах. И при этом — человек, который никогда не повышал голоса. Даже когда приказывал убить.

— Садись, Иван, — сказал он, не отрываясь от бумаг.

Я сел в кожаное кресло напротив, закинул ногу на ногу и принялся разглядывать носки своих ботинок.

— За девочкой надо присмотреть, — начал отец без предисловий. — Она одна в большом городе. Это наш город, и это наша ответственность. Разумовский просил лично.

Я перевёл взгляд с ботинок на отца. Он смотрел на меня спокойно, без нажима, но я слишком хорошо знал этот тон. Он не просил. Он ставил в известность.

— Я понял, — ответил я.

— Отвези её домой. Будь вежлив. Она напугана.

Я чуть не фыркнул. Напугана. Ещё бы. Слухи о нашей семье расползались по стране, как нефтяное пятно, и я не сомневался, что половину этих слухов придумали мы сами. Полезно, когда тебя боятся. Но девица боялась, судя по всему, даже собственной тени — я видел её в гостинной, когда зашёл поприветствовать по настоянию матери. Сжалась в кресле, как котёнок, которого вот-вот смоеет в унитаз. Бледная, в

каком-то тулупе а не платье, с дурацким пучком на голове. Я тогда едва взглянул на неё. Мать сказала — я кивнул. Всё.
— Хорошо, — сказал я. — Отвезу.

Отец кивнул и вернулся к бумагам. Я поднялся и вышел, чувствуя лёгкое раздражение. Нянька. Мне, наследнику клана, поручили быть нянькой при перепуганной провинциалке. Ладно. Один вечер. Отвезу, сдам на руки её телохранителю и забуду.

Я спустился к машине. Она уже сидела там — прямая, как струна, вжавшаяся в кожаное сиденье так, будто оно было электрическим стулом. Я сел за руль, захлопнул дверь и покосился на неё. Даже не шевельнулась. Только пальцы на коленях чуть подрагивали.

— Пристегнись, — бросил я.

Она мгновенно дёрнулась и пристегнулась. Ремень щёлкнул с такой скоростью, будто от этого зависела её жизнь. Интересно.

Я завёл двигатель и выехал за ворота. В салоне повисла тишина — плотная, почти осязаемая. Я не включал музыку, не говорил. Мне было любопытно. Обычно люди, оказавшись в моей машине, либо начинали нервно болтать, либо, наоборот, пытались показать, что не боятся, — и то, и другое выглядело одинаково жалко. Эта девица молчала. Но её молчание было другим. Она не пыталась казаться смелой. Она просто боялась — и не скрывала этого.

Она смотрела в окно. Губы сжаты, плечи подняты, пальцы

вцепились в колени. Дрожит. Мелкой, непрерывной дрожью, как осиновый лист на ветру. Меня это вдруг разозлило. Чего она трясётся? Я её не съем. Пока.

— Посмотри на меня, — приказал я.

Она повернула голову. Глаза — серо-зелёные, миндалевидные, огромные на бледном лице — уставились на меня с таким ужасом, что я чуть не расхохотался. Но внутри у неё был стержень. Я заметил это сразу: она смотрела в глаза, не отводя взгляд, хотя ей явно хотелось провалиться сквозь сиденье. Бойтся, но подчиняется. Интересное сочетание.

— Хорошо, — сказал я и снова уставился на дорогу.

Она выдохнула — тихо, почти беззвучно, но я услышал.

Мы ехали молча. Дождь зарядил снова, и дворники мерно скользили по стеклу, размазывая воду. Я думал о том, что завтра надо встретиться с финнами по поводу новых контейнерных линий, и о том, что Гера опять влез в какую-то авантюру с криптовалютой, и о том, что Орловы в Челябинске слишком громко дышат в последнее время. Девчонка рядом со мной была фоном — незначительным, раздражающим, но временным. Сейчас сдам её с рук на руки её телохранителю и поеду домой. Виски, бумаги, сон. Всё просто.

Мы подъехали к её дому. Я заглушил двигатель и вышел первым. Обошёл машину, открыл ей дверь — джентльмен, как велел отец. Она выбралась наружу, и я заметил, что она едва достаёт мне до плеча. Маленькая. Хрупкая. Ветер растрепал её пучок, и несколько пепельных прядей упали на

лицо. Она поспешно заправила их за уши. Пахнуло чем-то сладким. Жасмин? Что-то фруктовое? Не разобрал.

Я проводил её до квартиры, поднимаясь по лестнице следом. Она шла быстро, но спотыкалась на каждой второй ступеньке — не от неловкости, от страха. Её телохранитель куда-то запропастился. Мне это не понравилось. Охрана должна быть на месте. Я мысленно поставил заметку разобраться.

У двери она замешкалась с ключами. Руки дрожали так, что она не могла попасть в замочную скважину. Я молча взял ключи из её пальцев, открыл дверь и шагнул внутрь первым — проверить, чисто ли. Привычка. В квартире было пусто и тихо, только дождь барабанил по жестяному подоконнику. Я обернулся. Она стояла в дверях, глядя на меня с паникой, которую не могла скрыть. Расширенные зрачки, приоткрытые губы, грудь вздымается часто-часто.

И тут меня накрыло.

Я сам не понял, что делаю. Просто вдруг захотелось проверить, насколько далеко заходит её послушание.

— Подойди, — сказал я.

Она подошла. Медленно, на негнущихся ногах, но подошла. Остановилась в полушаге от меня, задрав голову. Я увидел её глаза совсем близко — серо-зелёные, влажные, с золотыми крапинками вокруг зрачка. Я не планировал её трогать. Но рука сама легла на её затылок, и я наклонился.

Поцелуй вышел жёстким. Я не нежничал — не умел, не хотел, не считал нужным. Просто впился в её губы, чтобы

попробовать. И как только я это сделал, у меня сорвало крышу.

Запах её волос ударил в ноздри — яблоко, точно яблоко, и что-то ещё, тёплое, летнее. Губы были мягкими и испуганными, и от этого контраста с моей грубостью внутри что-то пережмурило. Я прижал её к стене, забираясь руками под блузку — тонкая ткань, горячая кожа, острые лопатки под моими ладонями. Она дёрнулась, попыталась оттолкнуть меня, но я был сильнее, и она это поняла сразу.

— Не дёргайся, — рыкнул я, не отрываясь от её рта.

Она замерла. Мгновенно. Руки упали вдоль тела, глаза закрылись, губы приоткрылись. Полная покорность. Абсолютная. И это подействовало на меня, как ведро ледяной воды. Я отстранился.

Она стояла у стены — взлохмаченная, с припухшими губами, в задранной блузке, — и не двигалась. Смотрела на меня с ужасом и чем-то ещё, чего я не смог распознать.

— Дай телефон, — приказал я, пытаюсь выровнять дыхание.

Она протянула руку, и я взял её телефон. Я вбил свой номер, сохранил под именем «И.Д.» и вернул телефон.

— Если захочешь продолжения — пиши.

Она молча кивнула. Я развернулся и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. В коридоре я на секунду задержался, перевёл дух и потёр переносицу. Что это, чёрт возьми, было?

Я спустился к машине, сел за руль и несколько секунд просто сидел, глядя на дождь. Пальцы подрагивали. У меня, Ивана Дмитриевича Вяземского, наследника крупнейшего клана северо-запада, человека, который убивал голыми руками и не терял при этом аппетита... у меня дрожали пальцы. Из-за провинциальной девчонки.

Я завёл двигатель и резко рванул с места. Злость на самого себя мешалась с чем-то ещё. Я просто гнал машину по мокрым улицам и пытался не думать. Не думать о её глазах. Не думать о запахе её волос. Не думать о том, как она замерла, подчиняясь мне, и как это завело меня сильнее, чем что-либо за последние семь лет.

И уж точно не думать о том, что я хочу продолжения.

Дома я налил себе виски, выпил залпом и сел к бумагам. Но перед глазами всё равно стояла она. Я злился. Злился и не понимал, что со мной происходит. А ещё я знал, что завтра или послезавтра найду повод увидеть её снова. И это было хуже всего.

Потому что Иван Вяземский никогда не искал поводов.
До этого дня.

Глава 5. Клубный дурман

Катя

Я продержалась ровно два дня.

Два дня я не видела его. Два дня я не слышала его голос. Два дня я убеждала себя, что тот вечер был случайностью, помутнением, ошибкой, которую он уже забыл. Но моё тело помнило всё. Его запах. Его пальцы на моём затылке. Его губы, жёсткие, требовательные, и то, как он прошептал мне в губы: «Не дёргайся». Я просыпалась среди ночи от собственного сердцебиения и лежала в темноте, глядя в потолок, а перед глазами стояло его лицо. Холодные серо-голубые глаза, резкая линия челюсти, тёмные волосы, зачёсанные назад. Я ненавидела себя за то, что не могла перестать думать о нём. Я ненавидела его за то, что он сделал это со мной. И я ненавидела больше всего то, что, когда он ушёл, мне стало пусто.

Настя позвонила в пятницу днём. Её голос в трубке звенел, как будильник, который невозможно выключить:

— Катюха! Ты дома? Сегодня пятница, а это значит, что мы идём в клуб. Я уже договорилась, у меня есть флаеры, нас пропустят в «Палантин». Это, конечно, не «Метрополь» и не «Калипсо», но там играет диджей из Берлина, и, говорят, он сводит техно с Шопеном. Шопен! Ты представляешь?

— Я не очень люблю клубы, — начала я, но Настя перебила меня с той беспощадной энергией, которая не призна-

вала отговорок.

— А кто говорит про любовь? Это терапия! Ты два дня ходишь с лицом человека, которому сказали, что он умрет от скуки через месяц. Тебе нужно встряхнуться, Кать. Алкоголь, музыка, танцы. И парни. Парни — отличное лекарство от хандры, я проверяла. Правда, мой бывший сказал, что я его довела до нервного срыва, но это он просто слабак.

Я невольно улыбнулась. С Настей невозможно было не улыбаться — она фонтанировала жизнью, как шампанское из бутылки, которую слишком сильно встряхнули. Рыжие волосы, вечно растрёпанные, веснушки, которые она не пыталась скрывать, и смех — громкий, заразительный, совершенно неприличный. Она не знала, кто я на самом деле. Для неё я была просто Катя Бельская, студентка из Ставрополя, тихая южанка, которая почему-то носила мешковатые джинсы и толстовки.

— Ладно, — сдалась я. — Во сколько?

— В девять! Я заеду за тобой, и не вздумай одеться как на похороны. Достань что-нибудь... ну, не знаю, более живое? Хотя бы джинсы по фигуре. У тебя они вообще есть?

Я вспомнила свой гардероб и мысленно вздохнула. Джинсов по фигуре у меня не было. Вообще. Все мои вещи были на размер-два больше, чем нужно, и это было сделано специально. Но Насте я этого объяснять не стала.

— Что-нибудь придумаю.

— Вот и отлично! До вечера!

Она повесила трубку, а я ещё минуту сидела, глядя на телефон. Может, она права. Может, мне действительно нужно встряхнуться, выкинуть его из головы, забыть тот проклятый поцелуй и всё, что было до и после. В конце концов, я в Петербурге. Свободна, насколько это возможно для дочери донна. Почему бы не попробовать пожить обычной жизнью?

Я подошла к шкафу и открыла дверцы. Ряды тёмных свитеров, мешковатых джинсов, пара закрытых платьев, купленных по настоянию отца для официальных случаев. Ничего «живого». Ничего яркого. Ничего, что говорило бы: «Я — девушка, и я хочу быть красивой». Я вздохнула.

В итоге я остановилась на чёрных джинсах — самых узких, что у меня были (они всё равно сидели свободно, но хотя бы не висели мешком), и тёмно-зелёной блузке, которую я заправила внутрь. Волосы я, после долгих колебаний, не стала затягивать в пучок, а распустила. Посмотрела в зеркало. Оттуда на меня смотрела девушка, которую я почти не узнавала. Она была красива

Настя приехала ровно в девять, и когда я открыла дверь, она присвистнула.

— Ого! А ты ничего, Бельская! Если бы ты ещё не сутулилась, как школьница, которую вызвали к доске, ты была бы вообще огонь. Ну-ка, плечи расправь. Вот так. И улыбнись. Нет, не так. Более загадочно. Типа: «Я знаю то, чего не знаешь ты». Да, вот так. Пошли!

Клуб «Палантин» находился в центре, в подвальном эта-

же старого особняка на Конюшенной. С улицы он выглядел как обычный жилой дом, но вниз вела неприметная лестница с неоновой вывеской и амбалом на входе. Настя помахала флаерами, и нас пропустили без очереди, мимо вереницы девушек на шпильках, которые кутались в шубки и бросали на нас завистливые взгляды.

Внутри было темно и шумно. Басы долбили так, что вибрировали стены и, кажется, мои внутренние органы. Свет мигал с синего на фиолетовый, пространство прорезали вспышки лазеров. Танцпол был забит, справа ярко подсвечена стойка бара, и над всем этим плыл густой запах духов и алкоголя. Настя схватила меня за руку и потащила к бару.

— Два коктейля! — крикнула она бармену. — Мне «Мохито», а подруге...

— То же самое, — сказала я. — Безалкогольный.

Настя вытаращила глаза.

— Безалкогольный? Ты серьёзно? В пятницу? В клубе? Ты что, спортсменка?

— Я просто не пью.

— Господи, Катя, ты не пьёшь, не куришь, не гуляешь. Ты вообще живая? Ладно, давай хотя бы один нормальный коктейль, для храбрости. Смотри, сколько тут симпатичных парней!

Она повела рукой, и я невольно огляделась. Парни были. Много. Высокие, низкие, в рубашках, в футболках, с модными стрижками и без. Они смотрели на танцующих девушек,

смеялись, пили что-то из высоких стаканов. Кто-то подмигнул мне, и я поспешно отвернулась. Я не умела флиртовать. Меня не учили. Меня учили не смотреть в глаза, не привлекать внимания, не провоцировать. Мне вдруг стало тоскливо. Зачем я здесь? Что я вообще делаю в этом чужом городе, в этом чужом клубе, среди чужих людей?

— Ладно, — сдалась я. — Давай один.

Настя просияла и заказала два «Мохито». Бармен ловко смешал напитки, бросил в стаканы лёд, веточки мяты и ломтики лайма. Я взяла свой стакан и сделала глоток. Сладковато, но вкусно.

— Ну, как? — Настя подтолкнула меня локтем.

— Нормально.

— Вот и славно! Еще пару глотков и — танцевать!

Она потащила меня на танцпол. Я пыталась сопротивляться, но музыка уже гудела в крови, коктейль теплом разливался по телу, и я вдруг подумала: а почему бы и нет? Почему не позволить себе хоть раз в жизни просто быть девушкой, которая танцует в клубе? Я танцевала. Впервые за много лет — по-настоящему, не оглядываясь, не боясь, что кто-то смотрит и оценивает. Музыка гремела, и в этом грохоте растворялись мысли. Иван, отец, страх — всё отступало, уходило на задний план. Оставался только ритм, только движение, только мы с Настей, кружащиеся в синих вспышках. Настя скидывала руки и кричала что-то, чего я не слышала, но её улыбка была заразительной, и я улыбалась в ответ.

Мы вернулись к бару через пол часа раскрасневшиеся, запыхавшиеся, счастливые. Я взяла свой мохито и смеялась над тем, как Настя изображала нашего профессора по экономической теории — надувала щёки и говорила басом: «Спрос и предложение, господа студенты, это вам не шуры-муры в подворотне». Бармен, молодой парень с татуировками на предплечьях, улыбался, слушая её.

Рядом возникли двое парней. Один — высокий, в клетчатой рубашке, с модной стрижкой — облокотился о стойку и подмигнул Насте.

— Девчонки, давайте мы вас угостим? По коктейлю для храбрости? А то вы такие красивые и такие трезвые — это непорядок.

Настя фыркнула и ткнула его пальцем в грудь.

— Твоя храбрость, красавчик, сейчас понадобится тебе самому — чтобы пережить отказ. Мы сами себе купим, спасибо.

Я прыснула. Парень сделал вид, что смертельно ранен, прижал руку к сердцу и отступил, а его друг, посмеиваясь, потянул его обратно в толпу. Настя показала им язык и повернулась ко мне.

— Видала? Клеятся. А ты боялась. Тут всё просто: улыбка, шутка, и они сами отваливаются. Или не отваливаются — это уж как повезёт. Пошли обратно!

Мы снова нырнули на танцпол. Музыка сменилась — теперь это был густой, тягучий бас, от которого пол уходил из-

под ног. Я двигалась, закрыв глаза, позволяя телу жить своей жизнью. Настя что-то кричала мне на ухо — кажется, про то, что диджей — гений, но её голос доносился как сквозь вату.

А потом я почувствовала это.

Сначала — жар. Не тот приятный жар от танца, а другой, чужеродный, поднимающийся откуда-то из живота и растекающийся по венам, как кипяток. Сердце ударило о рёбра — раз, другой, третий, — и вдруг понеслось вскачь, сбивая ритм. Я открыла глаза и увидела, что мир изменился.

Цвета стали слишком яркими. Синие вспышки резали, как ножи. Люди вокруг двигались неестественно — дёргано, смазанно, будто кто-то прокручивал плёнку с перебоями. Звук исказился: басы стали низкими и вязкими, как подводный гул, а высокие частоты — пронзительными, режущими слух. Я моргнула, и лица вокруг поплыли, теряя черты.

— Катя? — голос Насти пробился сквозь гул, но он звучал далеко, очень далеко. — Ты чего? Эй!

— Мне нужно... — я облизнула пересохшие губы. Язык казался чужим, шершавым, неповоротливым. — В туалет. Я сейчас.

Я выбралась с танцпола, цепляясь за чужие руки и плечи. Кто-то толкнул меня, кто-то ругнулся. Пол качался, как палуба корабля в шторм. Каждый шаг давался с трудом, будто ноги были налиты свинцом. Стены коридора плыли, сжимались и расширялись, дышали, как живые. Я толкнула дверь туалета и ввалилась внутрь.

Здесь было тише. Свет холодный, люминесцентный резал глаза, но, по крайней мере, не мигал. Я добрела до кабинки, заперлась и сползла по стенке, прижимая ладони к лицу. Кожа горела. Я потрогала лоб — он был мокрым и горячим. В висках стучало, и каждый удар отдавался где-то в затылке тупой болью.

Что со мной? Я почти не пила. Один коктейль. Один!

Я же оставила его на стойке. Кто-то намешал туда что-то?

Мысль ударила, как пощёчина. Я попыталась встать, но ноги не держали. Меня трясло, всё внутри сжималось и разжималось в хаотичном ритме. Я слышала своё дыхание — частое, поверхностное — и не могла его замедлить. В груди росло чувство обречённости, тёмное и липкое, как смола.

Телефон. У меня есть телефон.

Я вытащила его из кармана дрожащими пальцами. Экран плыл, иконки двоились. Я зажмурилась, снова открыла глаза, попыталась сфокусироваться. Контакты. «И.Д.».

Я нажала «вызов». Попала в кнопку не сразу.

Гудки. Один. Второй. Третий. Каждый длился вечность. А потом — щелчок, и его голос, низкий, с лёгкой хрипотцой:
— Да.

Я открыла рот, но из горла вырвался только хрип. Язык не слушался. Губы не слушались. Я хотела сказать: «Помоги, я в клубе, мне плохо», — но получилось только:

— Иван...

— Что? — его голос стал резче. — Говори.

— Помоги, — выдохнула я, и каждое слово давалось, как шаг по битому стеклу. — Пожалуйста...

Договорить я не смогла. Телефон выпал из рук и стукнулся об пол. Рука разжалась, и я не могла ее контролировать. Я сидела в кабинке, привалившись к стене, и чувствовала, как по щекам текут слёзы. Плакать было стыдно, но я ничего не могла с собой поделать. Меня трясло, и жар сменялся холодом, а потом снова жаром. Я слышала голоса за дверью туалета. Мужские. Возбуждённые.

Ждут. Меня? Я снова попыталась подняться, но ноги подкосились, и я снова сползла вниз. Дверца кабинки — тонкая, хлипкая — была единственным, что отделяло меня от них. Я слышала их шаги, их смех, их голоса, которые становились всё громче, и от ужаса у меня перехватило горло.

Я не знаю, сколько прошло времени. Секунды? Минуты? Я то проваливалась в темноту, то выныривала обратно, и каждый раз слышала их — они всё ещё были там, за дверью. Я сжалась в комок, обхватив колени руками, и повторяла про себя одно и то же, как молитву: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста».

А потом дверь туалета с грохотом распахнулась, и всё стихло.

Глава 6. Спасительная ярость

Каждый ход в шахматах — это и нападение, и защита одновременно.

Иван

— Пункт четыре дробь два, — бубнил юрист, постукивая ручкой по столу, — предусматривает ответственность за срыв сроков погрузки в случае форс-мажора, однако, как мы видим из практики Высшего арбитражного суда за две тысячи двадцатый год...

Я смотрел на него и думал о том, что, если он скажет «форс-мажор» ещё раз, я, возможно, начну крушить мебель. Не потому, что я был зол. Просто скука в этом кабинете достигла такой концентрации, что её можно было резать ножом. Переговорная в нашем офисе на Васильевском острове была обставлена дорого, но бездушно: стекло, хром, серый ковролин. За окном моросил дождь. Пятый день подряд. И капли лениво ползли по стеклу, как переевшие мухи.

Рядом со мной сидел Гера. Он рисовал в блокноте чертика с рогами и, судя по шевелению губ, считал минуты до конца заседания. Напротив расположились двое юристов из нашей конторы и один приглашённый спец по морскому праву — лысоватый мужик с очками на цепочке. Он мне чем-то напоминал бухгалтера из советского кино: такие же усики, такой же галстук, завязанный слишком туго. Он говорил медлен-

но, с расстановкой, и каждое его слово весило примерно как мешок с цементом.

— ...Таким образом мы можем минимизировать риски, если включим в договор положение о третьей оговорке...

Мой телефон завибрировал. Я бросил взгляд на экран. «Е. Бельская». Внутри что-то дёрнулось.

Я не ждал её звонка. Она должна была сидеть тихо, учиться, не высовываться. Я выкинул её из головы, точнее, пытался. Два дня назад я вышел из её квартиры с дрожащими руками, и это бесило меня до чёртиков. Я не тот человек, у которого дрожат руки. Я тот, от кого дрожат.

Поднял трубку.

— Да.

Тишина. Потом хрип. Сдавленный звук, похожий на моё имя.

Сердце пропустило удар. Я не узнал её голос. Он был слабым, как у раненого зверька. Она пыталась сказать что-то ещё, но слова не шли. Только дыхание — частое, рваное, как после драки.

— Говори, — рявкнул я, уже на ногах. Юрист осёкся. Гера оторвался от блокнота.

Связь оборвалась.

Я стоял с трубкой в руке и чувствовал, как внутри разливается холод. Не тот холод. Липкий. Дерьмовый. Она в беде.

— Гера, — бросил я, уже двигаясь к двери. — Отследить телефон Бельской. Живо.

Гера кивнул и исчез. Юристы что-то залепетали, но я даже не обернулся. В коридоре перешёл на бег. Плевать, что подумают. Плевать на всё. Она позвонила мне. Мне, блядь. И я должен успеть.

В машине я вдавил педаль в пол и вылетел со стоянки. Дождь лупил по крыше, дворники не справлялись. Я гнал к Петроградке — к её дому. Тупо. Она не дома. Но мозг ещё не включился. Включился инстинкт: найти, защитить, убить любого, кто тронул.

Телефон зажужжал. Гера.

— Она в «Палантине», — сказал он без предисловий. — Большая Конюшенная, два. Я уже еду.

Резкий разворот через две сплошные. Визг тормозов. Чей-то гудок в спину. Похер.

Я влетел на Конюшенную, бросил машину у входа, не глуша двигатель. Охрана узнала меня и расступилась без звука. В клубе гремела музыка, толпа плясала, как ни в чём не бывало. Я прошёл сквозь неё, как нож сквозь масло. Люди расступались. Правильно делали.

У женского туалета стояли трое. Молодые кретины. Один — в клетчатой рубашке, с прилизанными волосами. Второй — коренастый, с бычьей шеей. Третий — щуплый, с бегающими глазками. Они ржали и переговаривались.

Я не стал тратить слова. Подошёл, взял клетчатого за шкуру и впечатал лицом в стену. Хрустнул нос. Он сполз вниз. Бычья шея дёрнулся ко мне — я встретил его прямым в

челюсть. Он рухнул, как куль. Третий побежал. Пусть бежит.

Толкнул дверь туалета. Тишина. Ряд кабинок. Одна закрыта. Я ударил плечом — замок вылетел. Она сидела на полу, привалившись к стене. Бледная, мокрая, трясущаяся. Волосы растрепались. Глаза — огромные, серо-зелёные, как у испуганного оленёнка. Зрачки на пол-лица. Дышит часто, поверхностно. Под наркотой. Я присел, поднял её голову.

— Ты меня слышишь?

Она моргнула, попыталась сфокусироваться.

Подхватил на руки. Лёгкая, зараза. Кости да кожа. Прижалась ко мне и затихла. Я вынес её мимо двух тел у туалета, мимо ошарашенной охраны. Никто не пикнул. Усадил на переднее сиденье, пристегнул. Сам сел за руль. Гера возник рядом.

— В больницу?

— Нет. Домой. Отойдёт.

Гера кивнул и исчез разбираться с теми придурками. Я не спрашивал. Я смотрел на неё. Она дрожала. Взял бутылку воды, открутил крышку, поднёс к её губам.

— Пей.

Она сделала глоток, поперхнулась. Потом ещё. Взгляд стал чуть более осмысленным. Но всё равно мутный. Я завёл двигатель и тронулся.

— Где твой телохранилитель? — спросил я, хотя уже знал ответ. Его не было. Нигде.

— Не знаю... — прошептала она. — Он... уехал... дела...

— Убью, — сказал я спокойно. — К чёртовой матери, убью.

Она не ответила. Она смотрела на меня. Потом вдруг потянулась и коснулась моего лица. Пальцы были горячими, как угли.

— Ты настоящий, — прошептала она. — Я думала, мне приснилось. Ты пришёл.

— Конечно, пришёл. Ты позвонила.

— Ты такой холодный, — она провела ладонью по моей щеке, по подбородку. — А я горю. Потрогай меня.

— Ты под наркотой. Сиди смирно.

Она не послушалась. Её рука скользнула ниже — по моей шее, по груди, и я поймал её запястье.

— Ты чего делаешь? — голос стал ниже. Сам не заметил.

— Трогаю тебя, — она улыбнулась пьяной улыбкой. — Не нравится?

— Не делай так. Пожалуйста.

Тогда она опустила вторую руку и положила мне на ширинку.

Я чуть не врезался в задницу «Форду» спереди. Рванул руль вправо, выровнял машину. Сердце колотилось как бешеное. Член дёрнулся и встал так резко, что в глазах потемнело. Какого хрена? Я не подросток, чтобы заводиться от одного прикосновения. Но она продолжала — поглаживала медленно, неумело, и от этой неумелости меня сносило крышу сильнее, чем от любой профессиональной шлюхи.

— Прекрати, — рыкнул я, перехватывая оба её запястья одной рукой. Какая же она хрупкая. Тонкие косточки. Кожа нежная. Если сжать сильнее — сломаются. — Сиди смиренно, Катя. Иначе свяжу.

Она замерла, но глаза загорелись.

— Свяжи, — выдохнула она. — Меня ещё никогда не связывали.

Твою мать. Я глубоко вдохнул и выдохнул. Она явно не понимала, что несёт. Наркотик развязал язык, вытащил наружу всё, что она прятала под своей мешковатой одеждой и опущенными глазами.

— Что тебе подмешали? — спросил я, пытаюсь вернуть разговор в безопасное русло.

— Не знаю... коктейль был вкусный. С мятой. Я не пью. Вообще. Мне нельзя. Папа говорит, я должна быть чистой. Для мужа, — она горько усмехнулась. — Чистый товар. А я взяла и поцеловалась. С Ромой. Знаешь, он такой красивый. Южный. Руки большие. Но ты лучше.

Рома. У меня внутри что-то перемкнуло. Какой, блядь, Рома? Она с кем-то целовалась? Когда? Я же её... Стоп. Она мне никто. Я ей никто. Но мысль о том, что какой-то хрен лапал её до меня, заставила сжать челюсти до скрежета.

— Рома, — повторил я ровно. — Кто это?

— Сын отцовского бригадира, — она болтала, как заведённая, не замечая моего тона. — Мы выросли вместе. Он влез ко мне в окно, когда я уезжала. Поцеловал. Я раньше

никогда... Это было впервые. Но ты не говори отцу. Он убьёт Рому. И меня накажет. Я сделаю всё, что хочешь, только не говори. Буду хорошей девочкой. Самой лучшей.

Она выгнулась на сиденье, и блузка, уже расстёгнутая на пару пуговиц, распахнулась сильнее. Я увидел кружево лифчика — белое, простое, без претензий, — и ложбинку между грудей. Член стал каменным окончательно. Я стиснул руль так, что побелели костяшки.

— Застегнись, — приказал я.

— Зачем? — она посмотрела на меня с вызовом, который не вязался с её обычным образом.

— Ты под наркотой.

— Я под наркотой, — согласилась она и вдруг расхохоталась, запрокинув голову. Волосы рассыпались по плечам — длинные, пепельные, как у русалки. — Я первый раз в жизни под наркотой. Ты меня спас. Ты — рыцарь. Ледяной рыцарь. Тебе идёт быть рыцарем.

Она всё ещё улыбалась, но её начало потряхивать. Я прибавил газу. Нужно довести её до квартиры, уложить, чтобы проспалась. Утром будет стыдно. Будет вспоминать и краснеть. Но сейчас она — пороховая бочка, а я — факел, который нельзя подносить близко.

У дома я заглушил двигатель и вышел. Её телохранителя не было. Вообще. Ни у подъезда, ни во дворе. Сыч — я запомнил это погоняло — видимо, решил, что охранять дочку босса в чужом городе не его забота. Ну, ничего. Завтра он

пожалеет, что родился.

Я вытащил Катю из машины. Она почти не стояла на ногах — наркотик гулял по крови. Пришлось нести. Поднялся по лестнице, пинком открыл дверь квартиры (она была не заперта, ещё один косяк Сыча), прошёл в спальню и опустил её на кровать. Она села, покачиваясь, и посмотрела на меня мутными глазами.

— Ты уйдёшь?

— Нет. Я здесь. Спи.

— Не хочу.

Она начала стягивать джинсы. Я отвернулся.

— Прекрати.

— Мне жарко.

— Я сказал — прекрати.

Я пошёл на кухню, чтобы сварить кофе. Ей нужно протрезветь. Мне — успокоиться. Нашёл банку растворимого дерьма, поморщился, заварил две кружки. Вернулся в комнату — и чуть не выронил обе.

Она стояла на кровати. Джинсы валялись на полу. Блузка расстёгнута полностью, под ней — простой белый лифчик. Трусы — тоже белые. Но на ней, на её фигуре, они выглядели откровеннее любого кружевного белья. Она была сложена, как статуэтка: тонкая талия, длинные стройные ноги, грудь, которую она прятала под мешковатыми тряпками, оказалась аккуратной и высокой. Волосы пепельные, густые разметались по плечам. Она покачивалась в такт неслышной музыке.

— Ты вернулся! — она заметила меня, прыгнула с кровати и, запутавшись в собственных ногах, рухнула на четвереньки. Хихикнула. И поползла ко мне.

Как кошка. Медленно. Опускаясь и прогибаясь. Бёдра покачивались. Взгляд — пьяный, но при этом тёмный, обещающий. Я стоял как вкопанный. Стояк, который немного утих, вернулся с новой силой. Поставил чашки на тумбу.

— Катя, иди в кровать. Тебе надо проспать.

Она подползла к моим ногам, ухватилась за ремень и, подтягиваясь, встала на цыпочки. Её лицо оказалось в паре сантиметров от моего. Губы приоткрыты. Дыхание — частое, с мятым привкусом.

— Поцелуй меня, — шепнула она.

И я сорвался.

Впился в её губы, как изголодавшийся пёс. Жадно, грубо, наплевав на всё. Она ответила мгновенно — выгнулась, прижалась всем телом. Мои руки скользнули по её спине, сжали ягодицы. Она застонала. Я подхватил её, отнёс к кровати и уложил. Она потянула меня за рубашку, пытаюсь расстегнуть, но пальцы не слушались.

— Хочу тебя, — шептала она. — Пожалуйста...

Я накрыл её одеялом, прижал его края к матрасу, фиксируя её руки.

— Спи, — сказал я хрипло. — Завтра поговорим.

Она пыталась выбраться, но одеяло держало. Она дёргалась ещё минуту, потом силы кончились. Глаза закрылись.

Дыхание выровнялось. Уснула.

Я сидел рядом и смотрел. Убрал волосы с её лица. Красивая. Очень красивая. Почему она скрывает такую фигуру, такую внешность? Почему одевается в мешки? Ответ я знал. Её отец. Её брат. Вся эта долбаная система, в которой женщина — товар, и чем незаметнее товар, тем дольше он хранится.

Но теперь она здесь. В моём городе. Под моей защитой. И я никому не позволю её тронуть.

Я просидел до утра. В шесть она заворочалась, но не проснулась. В семь я сходил на кухню, заварил свежий кофе. Она проснулась в восемь. Я услышал, как скрипнула кровать, и отставил чашку. Вошёл в спальню. Она сидела, прижимая одеяло к груди, и смотрела на меня круглыми от ужаса глазами. Тряслась. Мелкая дрожь — та самая, что бесила меня в машине. Значит, вернулась в норму. Хорошо.

— Ты... — голос сел. — Ты всю ночь здесь?

— Да.

— Я звонила тебе? — она облизнула губы. — Что я говорила? Я ничего не помню.

Врёт или нет? Похер. Даже лучше, если не помнит.

— Ничего особенного. Несла чушь. Наркота.

Она опустила глаза и закусил губу. Потом вдруг подняла одеяло выше, заглянула под него и побледнела.

— Ты меня раздел?

— Нет. Ты сама. Я пытался это прекратить.

Она покраснела так, что, казалось, ещё немного — и задымится. Не верит. Похер. Её проблемы. Я взял со стола вторую кружку и протянул ей.

— Кофе. Пей.

Она взяла кружку дрожащими пальцами. Сделала глоток. Я стоял, прислонившись к косяку, и ждал, пока до неё дойдёт остальное.

— Никаких клубов, — сказал я. — Никаких баров. Никаких вечеринок. Вообще никаких мест, где наливают, без моего ведома. Ты ходишь на пары, потом сидишь дома или едешь, куда я скажу. Везде со мной или с моими людьми. Поняла?

Она подняла глаза. Там плескался страх — но не тот животный ужас, что был в первый день. Другой. Обида пополам с возмущением.

— Это несправедливо...

— Справедливо, — перебил я. — Тут тебе не папочкин сельский клуб, где каждая шавка боится подойти к дочке Разумовского. Тут Петербург. Тут тебя сожрут и не подавятся. Ты поняла?

— Поняла, — выдавила она.

Я помолчал. Потом спросил — ровно, без эмоций:

— Кстати, кто такой Рома?

Она поперхнулась кофе. Закашлялась. Капли полетели на одеяло. Я не шевельнулся. Просто смотрел, как она давится и пытается отдышаться.

— Ч-что? — прохрипела она, вытирая рот тыльной стороной ладони.

— Рома. Ты говорила о нём ночью. Много говорила.

Она замерла. В глазах — паника. Догадывается, что сболтнула лишнего.

— Я не помню, — прошептала она. — Я, правда, не помню.

— Ладно, — сказал я. — Сам выясню.

Развернулся и вышел. За дверью позволил себе усмехнуться. Выясню. Обязательно выясню, кто этот хрен с юга, который лапал её до меня. И когда выясню — мало ему не покажется.

Но это потом. А пока — работа. И Сыч. Сыч, блядь, будет первым в списке.

Глава 7. Смена караула

Иван

От квартиры Бельской я отъехал в половине девятого. Дождь кончился, но небо висело низкое, серое, как старая простыня. Спать не хотелось, хотя я не спал всю ночь. Адреналин ещё гулял по крови, смешанный с глухим раздражением. Сыч. Этот усатый козёл должен ответить за всё. За то, что бросил её. За то, что она оказалась одна в клубе. За то, что я, блядь, сорвался посреди совещания и провёл ночь в кресле, глядя, как она спит. Он так и не появился.

Я набрал Геру.

— Ты где?

— Сплю, Иван Дмитрич, — голос у него был хриплый. — Вернее, пытался. Но Вселенная сказала: «Нет, Гера, ты нужен своему господину». Что стряслось?

— Срочно в дом отца. Будем разбираться с охраной Бельской.

— Понял. Через полчаса.

Я бросил трубку и надавил на газ.

В особняке на Каменном острове пахло кофе и утренней выпечкой. Отец уже был в кабинете. Сидел за столом, перебирал бумаги. При моём появлении поднял голову.

— Ты выглядишь, как после драки.

— Потому что я после драки, — я сел в кресло, вытянул

ноги. — Трое придурков у женского туалета в «Палантине». Ушатал двоих, третий убежал.

Отец отложил ручку и сцепил пальцы в замок.

— Дочь Разумовского?

— Да. Ей подмешали наркоту в клубе. Я вытащил её. Она в порядке. Спит. Но её телохранителя не было ни в клубе, ни у квартиры.

Отец ничего не сказал. Только брови чуть сдвинулись к переносице. Я знал этот взгляд. Если отец хмурится — кому-то конец. Я усмехнулся про себя. Ну, наконец-то.

В дверях возник Гера — свежий, как с обложки, в светлом пальто и с неизменным стаканчиком кофе.

— Доброе утро, Дмитрий Алексеевич, — он поклонился с комической торжественностью. — Погода сегодня — дрянь, зато новости — одна краше другой. Я так понимаю, мы тут собрались, чтобы решить судьбу одного нерадивого казачка?

— Примерно так, — отец взял телефон и набрал номер. — Сергей Николаевич? Доброе утро. Вяземский.

Повисла пауза. Отец быстро объяснил ситуацию, а потом долго слушал, что говорит Разумовский. Лицо его оставалось бесстрастным.

— Мы вчера заезжали проверить Екатерину Сергеевну, — сказал он ровно. — И не нашли при ней телохранителя. Ни разу. Ни в квартире, ни в городе. Я понимаю, что это ваш человек. Но мой город — моя ответственность. Я дал слово, что девочка будет под защитой. Вашего человека я отзываю.

Мы приставим своего.

Снова пауза. Я смотрел на отца. Разумовский явно был не в восторге. Но спорить с Вяземским — всё равно что спорить с гранитной скалой. Можно, но бессмысленно.

— Вот и договорились, — закончил отец. — Всего доброго.

Он положил трубку и кивнул Гере.

— Нашел? Он здесь?

— Ждёт внизу, — Гера кивнул.

— Зови.

Через минуту дверь открылась, и вошёл Сыч. Коренастый казак с обветренным лицом и вечной ленцой в глазах. Сегодня ленцы не было. Он зыркнул на меня, потом на Геру. На отца старался не смотреть. Знал, сука, что провинился.

— Игнат, — отец говорил спокойно, но от этого спокойствия мурашки бежали даже у меня. — Ты был приставлен к Екатерине Сергеевне для её безопасности. Где ты был вчера вечером?

— Дела решал, — буркнул Сыч. — По поручению Сергея Николаевича.

— Ты должен был находиться рядом с ней. А ты оставил её одну в чужом городе. В клубе, где ей подмешали наркотик. Ты понимаешь, что могло случиться?

Сыч сжал зубы так, что желваки заиграли на скулах. Молчал. Что тут скажешь? Проколотся. По-крупному.

— Ты возвращаешься в Краснодар, — сказал отец. —

Сергей Николаевич в курсе. С ним сам будешь объясняться. А здесь больше не появляешься.

Сыч поднял глаза. В них была злоба. На отца, на меня, на весь мир. Но он был не дурак, спорить не стал. Просто кивнул, развернулся и вышел.

Я посмотрел на отца.

— И всё? Бошку ему не оторвём?

Отец качнул головой.

— Нет. Не наша забота. Он — человек Разумовского. Пусть Сергей Николаевич сам решает. А ты, — он посмотрел на меня в упор. — Займись девочкой. Найди кого-то надёжного. Своего человека.

— Шаман, — сразу сказал Гера. — Руслан Айдаров. Из бывших спецназовцев. Молчит как рыба, дерётся как чёрт. И он тувинец, а это значит — буддист. Буддисты не пьют, не курят и не бросают подопечных. Идеальный вариант.

Я кивнул. Шаман. Хороший выбор. Я его помнил — он работал на нас пару лет, прикрывал один из портовых объектов. Молчаливый, исполнительный, лишних вопросов не задаёт. То, что нужно.

— Вызывай, — сказал я Гере и поднялся. — Пусть к вечеру будет у неё.

Отец снова взялся за бумаги. Разговор был окончен. Я вышел в коридор и остановился. Достал телефон и открыл чат с Бельской. Набрал:

«Вечером заеду. Покажу город. Одевайся по погоде».

Подумал секунду. Добавил:

«Хотя можешь не одеваться. Ты шикарно выглядишь без одежды».

Отправил. Представил, как она читает это сообщение, как расширяются её серо-зелёные глаза, как заливаются румянцем щёки. Усмехнулся и убрал телефон в карман.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.